

Николай Лесков

Мелочи архиерейской жизни



Николай Лесков

Мелочи архиерейской жизни

«Public Domain»

1878

Лесков Н. С.

Мелочи архиерейской жизни / Н. С. Лесков — «Public Domain», 1878

Содержание

Предисловие к первому изданию	5
Глава первая	6
Глава вторая	11
Глава третья	17
Глава четвертая	21
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Николай Лесков

Мелочи архиерейской жизни

(Картинки с натуры)

Нет ни одного государства, в котором бы не находились превосходные мужи во всяком роде, но, к сожалению, каждый человек собственному своему взору величайшей важности кажется предметом.

(«Народная гордость», Москва, 1788 г.)

Предисловие к первому изданию

В течение 1878 года русскою печатью сообщено очень много интересных и характерных анекдотов о некоторых из наших архиереев. Значительная доля этих рассказов так невероятна, что человек, незнакомый с епархиальною практикою, легко мог принять их за вымысел; но для людей, знакомых с клировою жизнью, они имеют совсем другое значение. Нет сомнения, что это не чьи-либо измышления, а настоящая, живая правда, списанная с натуры, и притом отнюдь не со злою целью.

Сведущим людям известно, что среди наших «владык» никогда не оскудевала непосредственность, — это не подлежит ни малейшему сомнению, и с этой точки зрения рассказы ничего не открыли нового, но досадно, что они остановились, показав, как будто умышленно, только одну сторону этих интересных нравов, выработавшихся под особыми условиями оригинальной исключительности положения русского архиерея, и скрыли многие другие стороны архиерейской жизни.

Невозможно согласиться, будто все странности, которые рассказываются об архиереях, напущены ими на себя произвольно, и я хочу попробовать сказать кое-что в *защиту* наших владык, которые не находят себе иных защитников, кроме узких и односторонних людей, почитающих всякую речь о епископах за оскорбление их достоинству.

Из моего житейского опыта я имел возможность не раз убеждаться, что наши владыки, и даже самые непосредственнейшие из них, по своим оригинальностям, отнюдь не так нечувствительны и недоступны воздействиям общества, как это представляют корреспонденты. Об этом я и хочу рассказать кое-что, в тех целях, чтобы отнять у некоторых обличений их очевидную односторонность, сваливающую непосредственно все дело на одних владык и не обращающую ни малейшего внимания на их положение и на отношение к ним самого общества. По моему мнению, наше общество должно понести на себе самом хоть долю укоризн, адресуемых архиереям.

Как бы это кому ни показалось парадоксальным, однако прошу внимания к тем примерам, которые приведу в доказательство моих положений.

Глава первая

Первый русский архиерей, которого я знал, был орловский – Никодим. У нас в доме стали упоминать его имя по тому случаю, что он сдал в рекруты сына бедной сестры моего отца. Отец мой, человек решительного и смелого характера, поехал к нему и в собственном его архиерейском доме разделался с ним очень сурово... Дальнейших последствий это не имело.

В доме у нас не любили черного духовенства вообще, а архиереев в особенности. Я их просто боялся, вероятно потому, что долго помнил страшный гнев отца на Никодима и пугавшее меня заверение моей няньки, будто «архиереи Христа распяли». Христа же меня научили любить с детства.

Первый архиерей, которого я узнал лично, был Смарагд Крижановский, во время его управления орловскою епархиею.

Это воспоминание относится к самым ранним годам моего отрочества, когда я, обучаясь в орловской гимназии, постоянно слышал рассказы о деяниях этого владыки и его секретаря, «ужасного Бруевича».

Сведения мои об этих лицах были довольно разносторонние, потому что, по несколько исключительному моему семейному положению, я в то время вращался в двух противоположных кругах орловского общества. По отцу моему, происходившему из духовного звания, я бывал у некоторых орловских духовных и хаживал иногда по праздникам в монастырскую слободку, где проживали ставленники и томившиеся в чаянии «владычного суда» подначальные. У родственников же с материной стороны, принадлежавших к тогдашнему губернскому «свету», я видал губернатора, князя Петра Ивановича Трубецкого, который терпеть не мог Смарагда и находил неутолимое удовольствие везде его ругать. Князь Трубецкой постоянно называл Смарагда не иначе, как «козлом», а Смарагд в отместку величал князя «петухом».

Впоследствии я много раз замечал, что очень многие генералы любят называть архиереев «козлами», а архиереи тоже, в свою очередь, зовут генералов «петухами».

Вероятно, это почему-нибудь так следует.

Губернатор князь Трубецкой и епископ Смарагд неужлибы друг друга с первой встречи и считали долгом враждовать между собою во все время своего совместного служения в Орле, где по этому случаю насчет их ссор и пререканий ходило много рассказов, по большей части, однако же, или совсем неверных, или по крайней мере сильно преувеличенных. Таков, например, повсеместно с несомненною достоверностью рассказываемый анекдот о том, как епископ Смарагд будто бы ходил с хоругвями под звон колоколов на съезжую посещать священника, взятого по распоряжению князя Трубецкого в часть ночным обходом в то время, как этот священник шел с дароносицею к больному.

На самом деле такого происшествия в Орле вовсе не было. Многие говорят, что оно было будто бы в Саратове или в Рязани, где тоже епископствовал и тоже ссорился преосвященный Смарагд, но немудрено, что и там этого не было. Несомненно одно, что Смарагд терпеть не мог князя Петра Ивановича Трубецкого и еще более его супругу, княгиню Трубецкую, урожденную Витгенштейн, которую он, кажется не без основания, звал «буесловною немкою». Этой энергической даме Смарагд оказывал замечательные грубости, в том числе раз при мне сделал ей в церкви такое резкое и оскорбительное замечание, что это ужаснуло орловцев. Но княгиня снесла и ответить Смарагду не сумела.

Епископ Смарагд был человек раздражительный и резкий, и если ходящие о его расправах с губернаторами анекдоты не всегда фактически верны, то все они в самом сочинении своем верно изображают характер ссорившихся сановников и общественное о них представление. Князь Петр Иванович Трубецкой во всех этих анекдотах представляется человеком

заносчивым, мелочным и бестактным. О нем говорили, что он «петушится», – топорщит перья и брыкает шпорою во что попало, а покойный Смарагд «козляковал». Он действовал с расчетом: он, бывало, некоторое время посматривает на петушка и даже бородой не тряхнет, но чуть тот не поостережется и выступит за ограду, он его в ту же минуту боднет и назад на его насест перекинет.

В кружках орловского общества, которое не любило ни князя Трубецкого, ни епископа Смарагда, последний все-таки пользовался лучшим вниманием. В нем ценили по крайней мере его ум и его «неуемность». О нем говорили:

– Сорванец и молодец – ни Бога не боится, ни людей не стыдится.

Такие люди в русском обществе приобретают авторитет, законности которого я и не намерен оспаривать, но я имею основание думать, что покойный орловский дерзкий епископ едва ли на самом деле «ни Бога не боялся, ни людей не стыдился».

Конечно, если смотреть на этого владыку с общей точки зрения, то, пожалуй, за ним как будто можно признать такой авторитет; но если заглянуть на него со стороны некоторых мелочей, весьма часто ускользающих от общего внимания, то выйдет, что и Смарагд не был чужд способности стыдиться людей, а может быть, даже и бояться Бога.

Вот тому примеры, которые, вероятно, одним вовсе неизвестны, а другими, может быть, до сих пор позабыты.

Теперь я сначала представлю читателям оригинального человека из орловских старожил, которого чрезвычайно боялся «неуемный Смарагд».

В то самое время, когда жили и враждовали в Орле кн. П. И. Трубецкой и преосвященный Смарагд, там же в этом «многострадальном Орле», в небольшом сереньком домике на Полешской площади проживал не очень давно скончавшийся отставной майор Александр Христианович Шульц. Его все в Орле знали и все звали его с титулом «майор Шульц», хотя он никогда не носил военного платья и самое его майорство некоторым казалось немножко «апокрифическим». Откуда он и кто такой, – едва ли кто-нибудь знал с полной достоверностью. Шутливые люди решались даже утверждать, что «майор Шульц» и есть вечный жид Агасфер или другое, столь же таинственное, но многозначачее лицо.

Александр Христианович Шульц с тех пор, как я его помню, – а я помню его с моего детства, – был старик, сухой, немножко сгорбленный, довольно высокого роста, крепкой комплекции, с сильною проседью в волосах, с густыми, очень приятными усами, закрывавшими его совершенно беззубый рот, и с блестящими, искрившимися серыми глазами в правильных веках, опущенных длинными и густыми темными ресницами. Люди, видевшие его незадолго до его смерти, говорят, что он таким и умер. Он был человек очень умный и еще более – очень приятный, всегда веселый, всегда свободный, искусный рассказчик и досужий шутник, умевший иногда ловко запутать путаницу и еще ловчее ее распутать. Он не только был человек доброжелательный, но и делал немало добра. Официальное положение Шульца в Орле выражалось тем, что он был бессменным старшиною дворянского клуба. Никакого другого места он не занимал и жил неизвестно чем, но жил очень хорошо. Небольшая квартира его всегда была меблирована со вкусом, на холостую ногу; у него всегда кто-нибудь гостил из приезжих дворян; закуска в его доме подавалась всегда обильная, как при нем, так и без него. Домом у него заведовал очень умный и вежливый человек Василий, питавший к своему господину самую верную преданность. Женщин в доме не было, хотя покойный Шульц был большой любитель женского пола и, по выражению Василия, «страшно следил по этому предмету».

Жил он, как одни думали, картами, то есть вел постоянную картежную игру в клубе и у себя дома; по другим же, он жил благодаря нежной заботливости своих богатых друзей Киреевских. Последнему верить гораздо легче, тем более что Александр Христианович умел заставить любить себя очень искренно. Шульц был человек очень сострадательный и

не забывал заповеди «стяжать себе друзей от мамоны неправды». Так, в то время, когда в Орле еще не существовало благотворительных обществ, Шульц едва ли был не единственным благотворителем, который подавал больше гроша, как это делало и, вероятно, доселе делает орловское православное христианство. Майора хорошо знали беспомощные бедняки Пушкарской и Стрелецкой слобод, куда он часто отправлялся в своем куцем коричневом сюртучке с запасом «штрафных» денег, собиравшихся у него от поздних клубных гостей, и здесь раздавал их бедным, иногда довольно щедрою рукою. Случалось, что он даже покупал и дарил рабочих лошадей и коров и охотно хлопотал об определении в училище беспомощных сирот, что ему почти всегда удавалось благодаря его обширным и коротким связям.

Но, помимо этой пользы обществу, Шульц приносил ему еще и другую, может быть не менее важную услугу: он олицетворял в своей особе местную гласность и сатиру, которая благодаря его неумолимому и острому языку была у него беспощадна и обуздывала много пошлостей дикого самодурства тогдашнего «доброего времени». Тонкий и язвительный юмор Шульца преследовал по преимуществу местных светил, но преследование это велось у него с таким тактом и наивностью, что никто и думать не смел ему мстить. Напротив, многие из преследуемых бичом его сатиры нередко сами помирали со смеху от насмешек майора, а боялись его *все*, по крайней мере все, имевшие в городе вес и значение и потому, конечно, желавшие не быть осмеянными, лебезили перед не имевшим никакого официального значения клубным майором.

Шульц, конечно, это знал и мастерски пользовался почтительным страхом, наведенным им на людей, не желавших почитать ничего более достойного почтения.

Шульцу было известно все, что происходило в городе. Сам он, по преимуществу и даже исключительно, держался компании в «высшем круге», где его и особенно боялись, но он не затворял своих дверей ни перед кем, и оттого все сколько-нибудь интересные или скандальные вести стекались к нему всяческими путями. Шульц был принят и у князя Трубецкого и у архиерея Смарагда, распрями которых он тешился и рачительно ими занимался, то собирая, то сочиняя и распуская об этих лицах повсюду самые смешные и в то же время способные усиливать их ссору вести. Мало-помалу Шульц до такой степени увлекся этой травлею, что предавался ей с исключительным жаром и, можно сказать, некоторое время просто как бы ею только и жил. Он всеми мерами старался разогреть и раздуть страсти этих борцов до того непримиримого пламени, в котором они с неукротимою энергиею старались испепелить друг друга.

Почти всякий день Шульц приходил к дяде моему, дворянскому предводителю (потом совестному судье и председателю палат) Л. И. Константинову и помирал со смеху, рассказывая, что ему удалось настроить, чтобы архиерей с губернатором лютее обозлились друг на друга, или же предавался серьезной скорби, что они «устают действовать», – в последнем случае он не успокаивался, пока не приходил к счастливым соображениям, чем их раздражить и стравить наново. И он отменно достигал этих целей, о которых мы в доме дяди всегда больше или меньше знали и из коих об иных стоит, кажется, рассказать для характеристики лиц и того *солидного* времени, которое так часто противопоставляется нынешнему времени – легкомысленному и несолидному.

Смарагд по прибытии в Орел очень скоро узнал о Шульце и оценил его значение. Он, разумеется, не только не пренебрег майором, но отнесся к нему с самою лестною внимательностью. Долго он все зазывал Шульца к себе через Киреевских и заигрывал с ним через других, поручая попенять ему, что он не хочет «навесить бедного монаха». Шульц не шел, но как бы благоволил к архиерею и похваливал его насчет губернатора. Наконец они встретились с Смарагдом, кажется на обеде в с. Шахове, и майор здесь совсем очаровал скучавшего епископа своими едкими сарказмами над Трубецким и доктором Лоренцем, а также и над другими видными орловскими гражданами. Знавший толк в людях, Смарагд тут же поста-

рался подметить слабость самого майора: он заметил, что Шульц любил хорошо покушать и притом был тонкий ценитель «доброго винца», в чем довольно сведущ был и покойный епископ. И вот «бедный монах» пригласил Зоила к себе в город запросто и угостил его, что называется, «по-знатоцки».

С тех пор они стали знакомы и, как люди очень умные, не много чинясь друг с другом, скоро сблизились. Но Смарагду, конечно, не удалось закормить Шульца до того, чтобы он совсем положил печать молчания на свои уста, и хотя многим казалось, будто майор как бы щадил архиерея и даже нападал за него на князя, но весьма вероятно, что это происходило оттого, что Смарагд без сравнения превосходил губернатора в уме, а Шульц был любителем ума, в ком бы ни встречал его. Однако послабление епископу длилось недолго: раз, когда Шульцу стали замечать, что он щадит архиерея, он ответил:

– Не могу же я, господа, не делать разницы между Трубецким, у которого мне подают блюдо его лакеи, и архиереем, который всегда сам меня потчует.

Это было передано Смарагду и послужило началом владычного неудовольствия, которое вскоре затем усилилось еще одним обстоятельством, после которого между владыкою и Шульцем произошел разрыв. Причиной тому был приезд в Орел какого-то важного чиновника центрального духовного учреждения. Может быть, это был директор синодальной канцелярии, а может быть, что-нибудь даже еще более достопримечательное. Смарагд чувствовал заезжего гостя в своем архиерейском доме вечернею трапезою, а Шульц был в числе возлежавших и, по обыкновению, один оживлял пир своим веселым и злым остроумием.

Благодаря ему зашла беседа за ночь, и «недоставшу вину» владыка всплескал руками, что у него было призывным знаком для слуг; но слуги, не чая позднего дополнения к столу, отлучились. Тогда архиерей живо встал и, чтобы не распустить компанию, подобрав свою бархатную рясу, побежал с такою резвостию, что, чрезвычайно удивленный этою прыткостью епископа, Шульц на другой же день начал рассказывать, как резво умеют наши владыки бегать перед чиновниками.

Смарагду это совсем не понравилось. Он нашел, что Шульц «нехорош в компании», но, однако, его высокопреосвященство никак не мог освободиться от довольно тяжелого нравственного влияния майора: Шульц ни за что не хотел спускать с глаз архиерейскую распрю с губернатором и придумал такую штуку, чтобы обнародовать положение их фондов во всеобщее сведение.

Это имеет особенный интерес, потому что тут мы можем получить довольно ясное указание, как несправедливы некоторые нарекания на архиереев, будто бы нимало не дорожащих общественным мнением.

Нижеследующий случай покажет, что даже и Смарагд был чуток к совету Сираха «пещись об имени своем».

На светлом окне серого домика на Полешской площади «сожженного» города Орла в один прекрасный день совершенно для всех неожиданно появились два чучела: одно было красный петух в игрушечной каске, с золочеными игрушечными же шпорами и бакенбардами; а другое – маленький, опять-таки игрушечный же козел с бороною, покрытый черным лоскутком, свернутым в виде монашеского клобука. Козел и петух стояли друг против друга в боевой позиции, которая от времени до времени изменялась. В этом и заключалась вся штука. Смотря по тому, как стояли дела князя с архиереем, то есть: кто кого из них одолевал (о чем Шульц всегда имел подробные сведения), так и устраивалась группа. То петух клевал и бил взмахами крыла козла, который, понуря голову, придерживал лапою сдвигавшийся на затылок клобук; то козел давил копытами шпоры петуха, поддевая его рогами под челюсти, отчего у того голова задиралась кверху, каска сваливалась на затылок, хвост опускался, а жалостно разинутый клюв как бы вопиял о защите.

Все знали, что это значит, и судили о ходе борьбы по тому, «как у Шульца на окне архиерей с князем дерутся».

Это был первый проблеск гласности в Орле, и притом гласности бесцензурной.

Не знаю, как интересовался этим князь Петр Иванович. Может быть, что этот губернатор, по приписываемым ему словам «сильно занятый поджогами», за недосугами и не знал, что изображали шульцевы манекены; но преосвященный это знал и очень следил за этим делом. Особенно с тех пор, когда фонды Смарагда в Петербурге совсем пали, бедный старец очень интересовался: как разумеют о нем люди? – и частенько, говорят, посылал некоего, поныне еще, кажется, здравствующего в Орле мужа «приватно пройти и посмотреть, что представляют у Шульца на окне *фигуры*: какая какую борет?»¹

Муж ходил, смотрел и доносил – не знаю, все ли сполна. Когда у Шульца на окне козел бодал петуха и сбивал с него каску, – владыку это куражило, и он веселел, а когда петух щипал и шпорил козла, то это производило действие противоположное.

Не наблюдать за *фигурами*, впрочем, было и невозможно, потому что бывали случаи, когда козел представал очам прохожих с аспидною дощечкою, на которой было крупно начертано: «П-р-и-х-о-д», а внизу, под сим заголовком, писалось: «такого-то числа: взял сто рублей и две головы сахару» или что-нибудь в этом роде. Говорили, что эти цифры большею частью имели живое отношение к действительности, и потому за них жутко доставалось всем, кто мог быть заподозрен в нескромности. Но предпринять против этого ничего нельзя было, так как против устроенного майором Шульцем органа гласности не действовала ни предварительная цензура, ни расширившая свободу печати система предостережений, до благодеяний которой, впрочем, еще и поныне не дожил издающийся в моем родном городе «Орловский вестник».

Сколь счастливее его были оные приснопамятные шутовские органы гласности, изобретенные Шульцем! И зато они сравнительно сильнее действовали. По крайней мере то несомненно, что крутой из крутых и смелый до дерзости архиерей их серьезно боялся. Можно думать, что если бы не они, то анекдоты о Смарагде, вероятно, имели бы еще более жесткий и мрачный характер, от которого владыку воздерживало только одно шутки ради устроенное пугало.

Надеюсь, что рассказанными мелочами из моих отроческих воспоминаний об архиерее, которого я знал в оную безгласную пору на Руси, я в некоторой степени показал примером, что и самые крутые из архиереев не остаются безучастными к общественному мнению, а потому такое нареkanie на них едва ли справедливо. Теперь же я на том же самом Смарагде представлю другой пример, который может показать, что и обвинение архиереев в безучастии и жестокости тоже может быть не всегда верно.

Но пусть вместо наших рассуждений говорят сами маленькие «события».

¹ О значении Смарагда в Орле ходили преувеличенные толки, будто он «близок ко двору», потому что «был законоучителем цесаревича» (императора Александра II), но в сущности все это ограничивалось тем, что Смарагд случайно занимался некоторое время «по болезни Павского» (*прим. Лескова*).

Глава вторая

На долю Орла выпало довольно суровых владык, между коими, по особенному своему жестокосердию, известны Никодим и опять-таки тот же Смарагд Крижановский. О жестокостях Никодима я слышал ужасные рассказы и песню, которая начиналась словами:

Архиерей наш Никодим
Архилютый крокодил.

Но многие жестокости Смарагда я сам лично видел и сам оплакивал моими ребячьими слезами истомленных узников орловской Монастырской слободы, где они с плачем глодали плесневые корки хлеба, собираемые милостыней. Я видал, как *священники целовали руки* некоего жандармского вахмистра, ростовщика, имевшего здесь дом и огород, на коем бесплатно работали должные и не должные ему подначальные попы и дьяконы, за то только, чтобы этот вахмистр «поговорил о них секретарю», деньгами которого будто бы оперировал этот воин.

У меня на этой Монастырской слободке жил один мой гимназический товарищ, сын этапного офицера, семья которого мне в детстве представлялась семьею тех трех праведников, ради которых господь терпел на земле орловские «проломленные головы». Это в самом деле была очень добрая семья, состоявшая из отца, белого, как лунь, коротенького старичка, который два раза в неделю с огромною «валентиновскою» саблею при бедре садился верхом на сытую игреную кобылку и выводил за кромскую заставу арестантские этапы. Арестанты его любили и, как был слух, не бегали из-под его конвоя только потому, что им «было жалко его благородие». Он был совсем старец и, давно потеряв все зубы, кушал лишь одну манную кашку.

Жена его, золотушная старушка, тоже была в детском состоянии: она питала безграничную и ничем не смущаемую доверчивость ко всем людям, любила получать в подарок игрушечные фарфоровые куколки, которые она расставляла в минуты скуки и уныния, посещавшие ее при появившихся под старость детских болезнях. У нее обыкновенно делались то свинка, то корь, то коклюш, а незадолго перед смертью появились какие-то припадки вроде родимца. Оба этапные супруга были добры до бесконечности. Их сын – мой гимназический товарищ, постоянно читавший романы Вальтер Скотта, и дочь, миловидная девушка, занимавшаяся вышиваньем гарусом, – тоже были олицетворением простоты и кротости. И вот у этих-то добрых людей на дворе, по сеням и закуткам всегда проживали «духовенные» из призванных «под начал» или «ожидавших резолюции». С них в этом христианском доме ничего не брали, а держали их просто по состраданию, «Христа ради». Изредка разве, и то не иначе как «по усердию», кто-нибудь из подначальных бедняков, бывало, прометет двор или улицы, или вылетит гряды, или сходит на Оку за водою, необходимою сколько для хозяйского, столько же и для собственного употребления самих подначальных.

В кромешном аду, который представляла собою орловская Монастырская слободка, уютный домик этапного офицера и его чистенький дворик представляли самое утешительное и даже почти сносное место. Сострадательные хозяева жалели злополучных «подначальников» и облегчали их тяжкую участь без рассуждения, которое так легко ведет к осуждению. Но, однако, и здесь, кроме приюта, «духовенным» ничего не давали, потому что не имели, что им дать. Им позволяли только дергать в огороде чрезвычайно разросшийся хрен, который угрожал заглушить всякую иную зелень и не переводился, несмотря на самое усердное истребление его «духовенными».

Домом этим дорожили «духовенные» и, прощаясь с офицерским семейством, всегда молили «паки их не отвергнуть, если впадут в руке Бруевича и паки сюда последуют». Дорожил этими добрыми людьми и я, не только потому, что мне всегда было приятно в этой простой, доброй семье, но и потому, что я мог здесь встречать многострадальных «духовенных», с детства меня необыкновенно интересовавших. Они располагали меня к себе их жалкою приниженностью и сословной оригинальностью, в которой мне чужалось несравненно более жизни, чем в тех так называемых «хороших манерах», внушением коих томил меня претензионный круг моих орловских родственников. И за эту привязанность к орловским духовенным я был щедро вознагражден: единственно благодаря ей я с детства моего не разделял презрительных взглядов и отношений «культурных» людей моей родины к бедному сельскому духовенству. Благодаря орловской Монастырской слободке я знал, что среди страдающего и приниженного духовенства русской церкви не все одни «грошевики, алтынники и блинохваты», каких выводили многие повествователи, и я дерзнул написать «Соборян». Но в тех же хранилищах моей памяти, из коих я черпал типичные черты для изображения лиц, выведенных мною в названной моей хронике, у меня остается еще много клочков и обрезков или, как нынче говорят по-русски, «купюров». И вот один из этих «купюров», герой моего наступающего рассказа – молодой сельский дьячок Лукьян, или в просторечии Лучка, а фамилии его я не помню. Это был человек очень длинный и от своей долготы сгорбленный, худой, смуглый, безбородый, со впалыми щеками, несоразмерно маленькою головкою «репкою» и желтыми лукавыми глазками. Он был «беспокойного характера», постоянно имел разнообразные стычки с разными лицами, попал за одну из них под начало и сделался мне особенно памятным по своей отважной борьбе с Смарагдом, которого он имел удивительное счастье и растрогать и одолеть – во всяком случае, по собственным его словам, он «победил воеводу непобедимого».

Дьячок Лукьян появился в офицерском доме на Монастырской слободке летом, перед ученическим разъездом на каникулы. Род вины его был оригинальный: он попал сюда *«по обвинению в кисейных рукавах»*. Подробнее этого о своем преступлении Лукьян вначале ничего не сообщал, и я так и уехал на каникулы в деревню с одними этими поверхностными и скудными сведениями о его виновности. Известно было только, что преступление с «кисейными рукавами» стряслось на Троицу и что виновный в нем был взят и привезен в Орел, по его словам, как-то «нагло», так что он даже оказался без шапки. Это я очень хорошо помню, потому что бедняк попервоначально чрезвычайно стеснялся быть без шапки и все хлопотал отыскать «оказию», чтобы выписать из «своих мест» какую-то, будто бы имевшуюся у него, другую шапку. По своему легкомысленному ребячеству я почему-то все сближал Лукьяна с тогдашним романсом:

Ах, о чем ты проливаешь
Слезы горькие тайком
И украдкой утираешь
Их кисейным рукавом.

Я думал, не он ли сочинил этот романс, или не запел ли он его ошибкою, где не следует. Но дело заключалось совсем в ином.

По возвращении с каникул я застал Лукьяна в прежней позиции, то есть на этой же Монастырской слободке, в офицерском доме, но только уже не простоволосого, а в желтом кожаном картузе с длинным четырехугольным козырем. Это меня очень обрадовало, и я при первой же встрече выразил ему свое удовольствие, что он нашел хорошую оказию вытребовать себе шапку. Но Лукьян только махнул головою и, сняв с себя свой оригинальный картуз, отвечал, что оказии он еще не нашел, а что носимый им теперь на голове снаряд добыт им

«по случаю». При этом, осматривая картуз с глубоким пренебрежением, как вещь, не соответствующую его духовному званию и употребляемую только по крайности, он сказал:

– Колпачок этот, чтобы покуда накрываться, мне царских жеребцов вертинар² за регистры подарил, – и при этом Лукьян добавил, что колпак этот «дурацкий» и что как только он вскорости возвратится домой, то сейчас же этот «колпачок» сдаст на скворешню и скворца в него посадит, чтобы тот научился в ней по-немецки думать: «кому на Руси жить хорошо».

Однако ни один скворец не дождался этой чести, потому что немецкий колпачок успел разрушиться на голове самого Лукьяна, прежде чем он уехал восвояси. Он гулял в нем все лето, осень и зиму до Алексея божия человека, когда в судьбе моего страдальца неожиданно произошла счастливая перемена.

За этот термин страданий я узнал от Лукьяна в подробности о кисейных рукавах и о прочем, – о чем теперь, вероятно, без всяких для него последствий могу сказать в воспоминание: какие важные дела иногда судят наши владыки.

Лукьян был человек холостой и состоял дьячком в очень бедном приходе, в селе, которое, кажется, называлось Цветынь и было где-то неподалеку от известного над Окою крутого Ботавинского спуска. При Лукьяне жила мать, которую он очень любил, но более всего он, по своему кавалерскому положению, любил нежный пол и по этому случаю часто попадал в «стычки». В этих случаях Лукьян нередко был «мят», но все это ему, однако, не приносило всей той пользы, какую должно приносить «телесное научение». Увлечение страсти и слабости сердца заставляли его забывать все бывшее, и вскоре опять где женщины – там и Лукьян, а затем невдалеке его и колотят, и – что всего удивительнее – колотят иногда при помощи тех же самых женщин, у которых он благодаря крутым завиткам на висках и обольстительному духовному красноречию имел замечательные успехи. Но, на его несчастье, он был слишком непостоянен и притом слишком находчив. В таком роде было и его последнее преступление, за которое он теперь томился в Орле. Удостоенный внимания пожилой постоянной дворничихи, он был у нее на «кондиции», а в то же самое время воспылил страстью к другой, молодой и более красивой женщине и тут так «попутался», что во время одного визита к дворничихе «скрыл» у нее и «потаенно вынес» пышные кисейные рукава, которые немедленно же и презентовал соблазнительной красавице. Сердце красавицы он этим преклонил на свою сторону, но сам за это «двукратно пострадал». Во-первых, когда молодая женщина появилась в «скрытых» Лукьяном кисейных рукавах на Троицын день под качелями, то она тем привела в неистовство обиженную дворничиху. Последствием этого было, что обе бабы произвели сначала взаимную потасовку, а потом, увидя желавшего их разнять Лукьяна, соединили свои силы и *обе* принялись за него: его они жестоко растрепали и исцарапали, а еще более «пустили молву», вследствие чего об этом было «донесено репортом», который, к удовольствию всех друзей нерушимости духовно-судебных порядков, предстал на архиерейский суд.

Но суд был еще далек: обвиняемый томился, а Смарагду о нем, вероятно, или совсем не докладывали, или же владыка не считал дело «о кисейных рукавах» подлежащим немедленному разбирательству и хотел нарочно потомить духовного волокиту. На огороде офицера отцвел и свернулся наперенный Лукьяном «по усердию» горох и посинели тучные бобы, в буйной ботве которых, бывало, спрятавшийся Лукьян громко и приятно наигрывал что-то на зеленой ракитовой дудке. Он пленял этою чудесною игрою и нас с товарищем, слушавших его с чердака, куда мы забирались читать Веверлея, и многих соседок офицерского домика, старавшихся открыть через частокол, где кроется в своем желтом картузе пострадавший за любовь трубадур? Все это отошло: огороды опустели, Лукьян убрал офицерше, по усердию,

² «Царскими жеребцами» в Орле тогда звали заводских жеребцов случной конюшни императорского коннозаводства. Она помещалась против Монастырской слободы (прим. Лескова).

и картофель и репу и нарубил с батрачкою большие напoлы капусты, а собственное его дело о кисейных рукавах нимало не подвигалось.

Настала суровая, холодная осень, а он все еще сидел на опустелом огороде и спал в нетопленном курятнике. Питался он *хреном*, сам готовя себе из этого фрукта и кушанье и напиток. Кушанье это было – скобленный хрен с салными «шкварками», которые выбрасывали из кухни, а напиток делался из тертого хрена с белым квасом – «суровцом».

Шутя над своею нуждою, Лукьян называл свое блюдо из хрена «лимонад-буштец», а напиток «лимонад-бышквит».

Кажется, если бы не только самого узловатого немца, но даже самого сильного из древних русских могучих богатырей покормить этим «лимонад-буштецем» и попоить «лимонад-бышквитом», то и он не замедлил бы задрать ноги, но тщедушный Лукьян жив и здоров бывал. Однако, наконец, вся эта истома и его пересилила: он заскучал и стал убиваться о том, как бы к кому-нибудь подольститься и «найти протекцию», чтобы «подвинуть свое дело». И он этого достиг и «подольстился» к кому-то такому, кто попросил о нем жандармского вахмистра, который, как сказано, имел сношения с случайными людьми архиерейского дома. Все эти люди явили Лукьяну благостыню, по началу судя, весьма странную, но по последствиям, как оказалось, чрезвычайно полезную.

У полнокровного и тучного Смарагда бывали тяжелые припадки, надо полагать, геморроидального свойства. В эту пору у него, по рассказам, болела поясница и было «тяготение между крыл». Архиерейское *междукрылие* находится на спине, в том месте, где у обыкновенных людей движутся лопатки. Поэтому «тяготение между крыл», попросту говоря, значило, что у епископа набрякла спина между лопатками, и от этой опухоли, причинявшей больному тяжесть, доктор (кажется, Деппиш) советовал Смарагду полечиться активной гимнастикой. Но какие же гимнастические упражнения удобны и приличны для человека такого высокого, и притом священного, сана? Нельзя же архиерею метать шарами или подсакивать на трапедии. Но Смарагд был находчив и выдумал нечто более солидное и притом патриархальное, а вдобавок и полезное: он пожелал *пилить дрова* с подначальными, которые в его бытность постоянно исполняли при архиерейском доме черные дворовые работы и между прочим пилили и кололи дрова для архиерея и его домовых монахов.

Дьячок Лукьян был при чем-то в сторожах и искал «протекции», чтобы попасть в пильщики, дабы таким образом иметь случай не только встретиться со своим владыкою, но, так сказать, стать с ним лицом к лицу. Этим способом он надеялся обратить на себя владычное внимание и извлечь из того для себя некоторую существенную пользу. Жандармский вахмистр, силою своих связей с архиерейским домом, все это устроил.

Смарагд избрал для своих упражнений во врачебной гимнастике послеобеденные часы. Прямо из-за стола он шел в сарай, где трудились за топорами и пилою подначальные, и с очередными из пильщиков перепиливал три-четыре, а иногда и пять плах. Так шло уже несколько времени, и хотя епископ неопустительно продолжал свои занятия, но они, вероятно, не оказывали желаемого воздействия на его владычные междукрылья: он все ходил, пригорбясь и насупясь и бе, яко Исав, «нрава дикого, угрюмого, ко гневу склонного и мстительного».

Дьячок Лукьян, наблюдая все это, впадал от такого архиерейского вида в неописанный страх, который потом вдруг стал переходить в раздражение. Все горести Лукьяна разом точно поднялись у него из сердечной глубины, и он стал так свирепо ругаться, что делалось за человека страшно. Позже он даже начал угрожать чем-то нестаточным, и от его возбужденности действительно можно было ожидать какого-нибудь очень нехристианского поступка.

– Отек очень с сытости, – говорил он непочтительно о своем владыке, – оттого ничего и не чувствует, а отцы наши все подделываются: самые тоненькие да сухие плашки ему пилить

подкладывают. Низкое их обхождение так научает, но дай срок, пусть он первый раз меня за пилюю, а не за топором застанет, я его таким поленом разуважу, что будет он меня век помнить.

Мы с товарищем пожелали узнать, что такое именно Лукьян придумал подстроить своему архиерею, и узнали, что подначальный дьякон, полный кипящего мщения к Смарагду, желает подложить ему самые толстые коряги, над которыми бы его преосвященство «хорошенько пропыхтелся». Я и мой товарищ, по своему отроческому легкомыслию, находили эту мысль чрезвычайно счастливою и достойною тех представлений, какие мы имели о Смарагде, но сильно боялись за предприимчивого Лукьяна, чтобы это не обошлось ему дороже, чем он рассчитывает.

Лукьян, однако, был на такой возвышенной степени воодушевления, что не хотел слушать никаких доводов.

– Ребра он мне, – говорит, – не сокрушит, а что ежели он меня костылем отвозит, то я этого только и желаю, потому что он опосля битья, говорят, иногда сдабривается.

Так он и пошел неуклонно на эту желанную меру сближения с своим архипастырем; а мы все не забывали интересоваться ходом его истории, которая, впрочем, не замедлила принять оборот самый краткий и самый решительный. Лукьян сделал, как намеревался, и в укромном месте, под стеною, в пыльном сарае, припас для своего владыки десятка полтора самых толстых суковатых плах. Он тщательно берег этот отбор до того случая, когда Смарагд застанет его за работою и возьмется с ним за другой конец пилы, чтобы разминать свои междукрылия. Случай этот не замедлил. Дня через два после того, как Лукьян сообщил нам о своем смелом предприятии, он явился домой в невыразимом отчаянии и, бросив под кухонную лавку свой желтый шлык, объявил, что «наделал себе беды, какой не ожидал».

– Приходит, – говорит, – владыка, а я пилю с кромской округи попом стареньким; владыка попа прогнали: «пошел прочь», говорят, потому что он им не по талии, а мне приказали: «клади плаху». Я было оробел и хотел, подобно как и другие-прочие, положить плаху какая собою поделикатнее, но раздумался, что этак я себя долго ни к чему счастливому не произведу, и, благословясь, выхватил из своего амбара штуку самую безобразную. Владыка взглянули на меня и ничего не сказали, стали резать, два ряда прошли и ряску сняли, говорят, «повесь на колок». А еще ряд отпилили и совсем стали, а я им другую, еще коряжистее, на козлы положил. Тут он на меня уж таким святителем взглянул, что у меня и в животе захолодело. «Ничего, говорит, ничего, я и эту перепилю, а уж зато ты у меня, скотина, еще целый год в пыльщиках останешься». С тем и ушли.

Мы спросили Лукьяна: что же он теперь думает делать? А он в отчаянии отвечал, что и сам не знает, но что, кажется, ему лучше всего продолжать свой термин держать – потому что, так он надеялся, может быть ему бог поможет на сем тяготении своего владыку раньше года постоянством «преодолеть и замучить».

И точно, прошло не более недели, как «державший свой термин» Лукьян возвратился с веселым видом и объявил, что он «архиерея замучил» и дело о кисейных рукавах, кажется, поправляется.

– Как же это так счастливо обернулось? – спрашиваем.

– А так, – отвечает, – оно обернулось, что я его преосвященство совсем заморил и от болезни их совершенно этими толстыми поленьями выпользовал.

– А по чему, – говорим, – это видно?

– Рассердился и ныне меня, слава богу, так костылем отвозил, что и сейчас загорбок больно.

– За что же это?

– Досадно стало, что характер имею большие плахи класть, и сам мне накла.

– Что же, – говорим, – тут хорошего?

– Теперь сдобрится.

– А как нет?

– Нет, сдобрится: все, которые опытные, завидуют, говорят: «Экое счастье тебе от святителя! теперь, как сердце отойдет, он твое дело потребует и решит».

Приходит Лукьян на другой день и еще веселее.

– Вчера же, – рассказывает, – дело к себе потребовали.

А еще через день после этого наш Лукьян как вбежал на двор в калитку, так прямо ни с того ни с сего и пошел на руках колесом.

– Отпустил, – кричит, – отпустил, ко двору благословил идти.

– А какое же, – спрашиваем, – было наказание?

– Вовсе без наказания, кроме того, как третьего дня костылем поблагословлял, ничего другого не вменено.

– Да ведь костылем это было не за кисейные рукава, а за другое.

– Ну что там разбирать, что за что выпало! Одно слово: иду благополучный, все равно как плетью да на выпуск. Чего еще надо?

«Плетьми на выпуск» в то время на Руси за большую неприятность не считалось. Нынче русские люди на этот счет немножко избаловались.

Итак, не поучает ли нас этот приснопамятный Лукьян приведенным случаем своей судьбы, что никогда не должно отчаиваться в милосердии русских владык, ибо хотя иные из них и гневны, но и их гневности бывает порою ослабление. И не достоин ли тоже этот, по видимому, как будто маловажный, случай особенного внимания именно потому, что он был не с каким-нибудь слабохарактерным лицом, а со Смарагдом, о котором в Орле говорили, что он никого не боится и единственно лишь тем уступает московскому митрополиту, что тот «ездит на шести животных, с двумя человеками на запятке». Другой же, менее Смарагда нравный архиерей, конечно, может оказаться еще податливее, если только случай сведет его с человеком, который поведет свою линию как надо. А без сноровки, конечно, ничего не поделаешь не только с архиереями, но даже и со своими собственными детьми.

В подтверждение же моих слов о способности архиереев переходить от гневной ярости к благоуветному добродушию расскажу еще один такой случай о другом архиерее, тоже вспыльчивом и гневном, но укрощавшемся еще легче и проще.

Глава третья

Одна из моих теток была замужем за англичанином Шкоттом, который управлял огромными имениями у гр. Перовского, в восточной полосе России. Англичанин Шкотт был человек очень благородный и добрый, но своеобразный. Он был очень вежлив, но если встречал с чьей-либо стороны грубость и наглость, то не спускал их никому. Еще в молодости он имел в Орловской губернии историю с одним кавалерийском полковником, которого Шкотт просто-напросто прибил за нахальство. Не изменился он в этом отношении и под старость. Когда я жил в П<ензен>ской губернии, он тогда, имея уже шестьдесят лет от роду, вызывал на дуэль губернского предводителя дворянства Арапова, и тот струсил. Шкотт не разделался с ним иначе только потому, что умер. Теперь они оба уже покойники.

Раз летом, не помню теперь которого именно года, дядя Шкотт, строивший *первую* в П<ензен>ской губернии паровую мельницу, купил для нее в селе К. огромные штучные французские жернова, которые были уже скованы крепкими шинами и которых нам очень не хотелось разбирать и сковывать заново. Мы решили катить их целиком и послали пригтовленную для того снасть, лошадей и людей, но вдруг получаем известие, что камни наши, едва отъехав десять верст от К., *проломил мост* и засели в сваях.

Мы с Шкоттом сейчас же поехали на место крушения и, приехав в К. довольно поздно вечером, остановились в доме тамошнего священника, тогда еще очень молодого человека, который был нам и рад и не рад. По личным добрым отношениям к Шкотту он встретил нас весьма радушно, но был встревожен и смущен тем, что преосвященный В<арлаам>, объезжавший в ту пору епархию, ночевал всего в десяти верстах от К. и завтра должен был нагрянуть со всею ордою провожатых, коих Петр Великий в своем регламенте именовал «несытыми скотинами». Священнику, конечно, было о чем позаботиться: надо было и накормить и разместить «оных насытых скотин». Особенно его затрудняло последнее, так как его сельский домик был очень невелик, а поврежденный мост с застрявшими в сваях камнями не подавал никакой надежды скоро переправить «обонпол потока» архипастырскую карету.

Мы были некоторым образом виновниками тягостных для батюшки осложнений и чувствовали это, но помочь ему не могли ничем, кроме того, что, не претендуя на его гостеприимство в доме, приготовленном «под владыку», легли спать на сеновале. Мы встали утром чем свет и отправились к изломанному мосту, о поправке которого нельзя было и думать, прежде чем мы найдем какое-нибудь средство снять камень, засевший в проломе настилки, между сваями.

Снять камень оказалось, однако, совершенно невозможно, и мы, после многих соображений, решили рассечь шины, которые его связывали в одно целое, после чего он должен был разделиться на штуки и упасть в ручей, откуда уже его предстояло после вытащить и перевезти на колеснях.

Распорядясь этою работою и оставив людей при деле, мы около десяти часов утра возвратились в дом священника, выкупались в реке, съели яичницу и, усталые, кувырнулись на сеновал и заснули. Но только что мы разоспались, как внезапно бысть шум: мы были разбужены разливавшимся над поповкою оглушительным трезвонном колоколов и криком: «Едет! едет! Архиерей едет!»

Было очень любопытно посмотреть, как *он едет*?

С неубранными спросонья головами, заспанными лицами и в сыром, не отчищенном от грязи дорожном платье мы вышли к калитке и увидали, что *он ехал* неважно — на своих на двоих. Попросту говоря, *он шел пешком*, потому что его карета не могла переехать через мост. Зато шел святитель, окруженный толпою, состоявшею человек из двадцати духовных и недуховных людей, между которыми особенно замечательны были две бабы. Одна из этих

православных христианок все подстилала перед святителем полотенце, на которое тот и наступал для ее удовольствия, а другая была еще благочестивее и норовила сама лечь перед ним на дорогу, – вероятно с тем, чтобы святитель по самой по ней прошелся, но *он* ей этого удовольствия не сделал. Сам он представлял из себя особу с красноватым геморроидальным лицом, на котором светились маленькие, сердитые серые глазки, разделенные толстым, дубоватым носом. Во всей фигуре владыки не было не только ничего «святолепного», но даже просто ничего внушительного. Он казался только разгневанным и «преогорченным». Тревожный взор его как будто вопрошал всех и каждого: «Что это такое? Отчего это я могу ходить пешком?»

Дядя Шкотт был человек религиозный и даже ездил в русскую церковь, к которой принадлежала его жена и дети, но, на несчастье, он о ту пору был сердит на архиереев. Это вышло по одному, незадолго перед тем случившемся, случаю с дочерью его великобританского друга, мисс Сп—нг. Дело это состояло в том, что мисс Сп—нг, гостя у своих и у наших друзей в Орловской губернии, заболела и, как девушка религиозная, позвала к себе единственное духовное лицо в деревне – приходского священника. А добрый сельский батюшка не только помазал ее миром и причастил, но и примазал ей это в ее документе, то есть сейчас же «учинил о сем надпись на ее паспорте».

Между тем умиравшая мисс Сп—нг после совершенного над нею тайнодействия не только выздоровела, но вскоре же была помолвлена за сына известного московского английского коммерсанта г. Л—ви. И тут, когда дело дошло до венчания, московский английский пастор набрел на самый неожиданный сюрприз: невеста значилась «*православною*». Обе английские семьи и весь московский английский приход, не сумев достойно оценить это обстоятельство, пришли в непонятное смятение и ужас. И вот пастор с моим дядею отправились к митрополиту Филарету Дроздову «отпрашивать» присоединенную по неведению англичанку, но митрополит им отказал. Тогда дело поправили иначе – гораздо легче и проще. Горю помог в этом случае один московский квартальный, указавший средство переписать оправославленную невесту снова в ее прежний еретический англиканизм. Секрет, сколько припоминаю, состоял в том, что паспорт англичанки с надписью о ее присоединении *утра-тили* и вытребовали ей новый, на котором никакой надписи о присоединении не было. Так ее и перевенчали как *будто англичанку*, хотя благодать православия на ней, разумеется, осталась и до сего дня. Но все-таки московских англичан Леонтьевского переулкa все эти хлопоты сердили, и дядя Шкотт был, по его словам, «зол на архиереев» и дал слово не иметь с ними никаких дел. Однако нижеследующий случай заставил его нарушить это слово.

О местном п<ензен>ском архиерее В<арлааме> мы кое-что знали, но по преимуществу только смешное. Он отличался независимостью в расправе с подчиненными и вообще разнообразно чудесил. Так, например, он целую зиму клал у себя в спальней соборного протоиерея О-на для того, чтобы отучить этого старичка от нюхания табаку даже в ночное время. Впрочем, некрологи этого архиерея говорят о нем разное, но в П<ен>зе он слыл за человека грубого, самочинного и досадительного.

Мы им, разумеется, особенно нimalo не интересовались, но тут нам захотелось посмотреть, не покажет ли он при настоящем случае какое-либо чудодействие? И вот мы с дядею Шкоттом вошли вслед за процессиею в церковь, конечно никак не ожидая, что его преосвященство постарается показать себя именно насчет одного из нас.

Когда мы вошли в церковь, недовольный путешествием архиерей жестоко шумел на кого-то в алтаре и покрикивал так интересно, что мы постарались подойти поближе и стали на левом клиросе. Царские врата были открыты, и до нас свободно долетали слова: «пес, дурак, болван», которые, кажется, главным образом выпадали на долю отца-настоятеля, но, может быть, по частям доставались и другим лицам освященного сана. Но вот, наконец, епископ, все обозрев и сделав все распоряжки в алтаре, вышел на солею, у которой стояли ктитор

и еще человека два-три не из духовных. Здесь же находилась и «матушка» отца-настоятеля, пришедшая просить его преосвященство на чай.

Преосвященный все супился и, раздавая всем по рукам благословение, спрашивал каждого: «чей такой?» или «чья ты?» и раздав эти благословения, на низкий поклон и привет матушки ответил:

– Ступай, готовься, – приду.

И затем он вдруг неожиданно обратился к нам, смиренно стоявшим на левом клиросе, и громко крикнул:

– А вы что? Чьи вы? Чего молчишь, старик?

Англичанин мой замотал головою, что у него обыкновенно бывало признаком недовольства, и неожиданно для всех ответил:

– А ты чего кричишь, старик?

Архиерей даже покачнулся и вскрикнул:

– Как? Что ты такое?

– А ты что такое?

Шумливый епископ как будто совсем потерялся и, ткнув по направлению к нам пальцем, крикнул священнику:

– Говори: кто этот грубец? (sic).³

– Грубец, да не глупец, – отвечал Шкотт, предупредив ответ растерявшегося священника.

Архиерей покраснел, как рак, и, зашелкав по палке ногтями, уже не проговорил, а прохрипел:

– Сейчас мне доложить, *что это* такое?

Ему доложили, что *это* А. Я. Шкотт, главноуправляющий имениями графов П<еро-в>ских. Архиерей сразу стих и спросил:

– А для чего он в таком уборе? – но, не дождавшись на это никакого ответа, направился прямо на дядю.

Момент был самый решительный, но окончился тем, что архиерей протянул Шкотту руку и сказал:

– Я очень уважаю английскую нацию.

– Благодарю.

– Характерная нация.

– Ничего: хороша, – отвечал Шкотт.

– А что здесь случилось, прошу покорно, пусть остается между нас.

– Пусть остается.

– Теперь же прошу к священнику: откусать вместе моего дорожного чаю.

– Отчего не так? – отвечал дядя, – я люблю чай.

– Значит, обрусели?

– Нет, – значит – чай люблю.

Преосвященный хлопнул дядю по-товарищески по плечу и еще раз воскликнул:

– Ишь, какая характерная нация! Полно злиться!

А затем он оборотился ко всем предстоявшим и добавил:

– А вы ступайте по своим местам.

И наговорившие друг другу комплиментов англичанин и архиерей долгонько кушали чай и закусывали «из дорожных запасов» владыки, причем его преосвященство в это время не раз принимался хлопать Шкотта по плечу, а тот, не оставаясь в долгу, за каждую такую ласку в свою очередь дружески хлопал его по стомаху. Оба они остались друг другом столько

³ Так (лат.)

довольны, что на прощанье братски расцеловались, причем Шкотт так сильно сжал поданную ему архиереем руку, что тот сморщился и еще раз вскрикнул:

— Ох, какая здоровая нация!

Так все это мирно и приятно кончилось в мимолетном свидании этого архипастыря с англичанином, а между тем этого самого архиерея иные его современники представляли человеком и злым и желчным, да и позднейшие некрологи не могут согласиться в его оценке. Я же более согласен с тем из них, который старается доказать, что преосвященный В<арлаам> имел очень доброе сердце. По крайней мере я не вижу причины, которая не позволила бы мне заключить, что этот человек владел золотою способностью делаться очень незлобивым, *если* чувствовал, что имеет дело с человеком, принадлежащим к «здоровой нации». А в таком случае очень возможно, что те, которым он казался неукротимым, вероятно, только не умели себя с ним держать. Не надо забывать старого правила: «кто хочет, чтобы с ним уважительно обходились другие, тот прежде всего должен уважать себя сам».

Мне кажется даже, что его преосвященство имел несколько высокий для русского человека идеал гражданского общества, и потому-то именно он и раздражался презренным низкопоклонством и лестью окружающих. Он хотел видеть людей более стойких и потому, встретясь с человеком «здоровой нации», сейчас же пришел в отрадное состояние удовлетворения. Если бы он ранее встречал подобное со стороны русских людей, то, наверно, и они могли бы привести его в такое же доброе расположение. И это, может быть, самый удачный вариант, которым, мне кажется, напрасно не воспользовался духовный апологет преосвященного В<арлаама>.

Глава четвертая

Были также не раз высказываемы жалобы, будто архиереи порою обнаруживают *неодолимую* упорность в невнимании к жалобам прихожан на неудовлетворяющее сих последних приходское духовенство. Было говорено именно так, что упорство этого рода бывает *«неодолимо»*. Мне, с моей точки зрения, и это кажется преувеличенным, и я постараюсь представить на это пример в пользу моего мнения.

На этот раз мы будем вести речь об особе очень большой, особе, ездившей «на шести животных с двумя человеками на запятках», об особе, имевшей видную роль в истории, известной во всех родах литературы и во всех подвигах веры, не исключая строжайшего постничества.

Об этом владыке злые языки говаривали (что даже где-то было и напечатано), будто он «ел по одной просфоре, но целым попом закусывал». Эта злобная выходка так при нем и осталась. А между тем один маленький случай, который я хочу здесь рассказать, может свидетельствовать, что владыка едва ли имел приписываемый ему странный аппетит «целым попом закусывать». И он, как увидим, иногда стоял за своих попов, и даже очень твердо.

У графини В<исконти>, дочери известного партизана Дениса Давыдова, в свое время очень изящной и бойкой светской дамы, в одной ее М-ской деревне завелся не в меру деньголюбивый поп. Он притеснял крестьян графини до того, что те вышли из терпения и не раз уже на него жаловались, но или жалобы крестьян не доходили по назначению, или же у попа при владыке, как говорят, была «своя рука». Но как бы там ни было, а только приход никак не мог избавиться от своего грабителя. О том же, чтобы унять его нестерпимое корыстолюбие, не могло быть и речи, так он «в сем заматорел, будучи в летах преклонных».

Но вот приехала из-за границы навестить свои маестности графиня, обыкновенно постоянно проживавшая в Париже. Крестьяне тотчас же пали ей в ноги, умоляя ее сиятельство «стать за отца за мать: ослобонить их от ворога», причем, разумеется, рассказали все, или по крайней мере многие, проделки «ненасытного» пастыря.

Графиня вспикела и позвала к себе «ненасытного», но тот не только не покался, а еще оказался искусным ответчиком и нагрубил барыне вволю.

Пылкая и тогда еще очень молодая дама сейчас же написала обо всем этом самое энергическое письмо владыке и была уверена, что его преосвященство непременно обратит внимание на ее справедливую просьбу, а может быть, даже и сам ей ответит с галантною вежливостью монсиньора Дарбуа. Но русский владыка, конечно, был не того духа, как архиепископ парижский. Наш владыка был обременен безмерною мудростью, тяжесть которой не позволяла ему быть скороподвижным, а внимательностью к просьбам он никого не баловал. Будучи мудр от молодых ногтей, он, по преданиям, еще в юности употреблял поговорку: «скорость потребна только блох ловить». Он не делал исключения даже для спасения утопающих, где тоже «потребна» скорость. Тяжелая медлительность этого Фабия Кунктатора была чертою его расчетливого и осторожного характера, а теперь ее, кажется, хотят сделать даже стимулом его святости.

Судя по отзывам панегиристов покойного, можно думать, что он не изменил бы этому своему правилу даже в том случае, если бы миру угрожал новый потоп и от его преосвященства зависело бы заткнуть дыру в хлябях небесных. Он и тогда не ускорил бы движение перста, и тогда продолжал бы в самоуглублении созерцать

...вдали козни горького зла,
Тартар, ярящийся пламень огня, глубину вечной ночи,

Скрытое ныне во тьме, явное там в срамоте.⁴

Некто, знавший его более других, сказал, что владыка был «прежде всего и после всего монах», и притом самый строгий, «истовый» монах, ставивший свой аскетизм выше всех своих обязанностей духовного администратора. И вот с такою-то нерушимой скалою аскетизма предстояло вступить в состязание молодой, красивой женщине, полупарижанке, избалованной своими успехами в свете, где поклонялись ее веселому остроумию, красоте и очень оригинальной независимости характера.

Бой мог быть интересным, но с первого же шага обещал быть неравным. Владыка не отвечал графине: он или совсем не удостоил внимания ее письмо, или же ее хлопоты о каких-то притеснениях, чинимых попом каким-то крестьянам, казались ему «суетными». А может быть, и самое нетерпение крестьян представлялось ему «малодушеством», к которому он стоически относил все человеческие скорби и несчастья. Но графиня, привыкшая к иному с нею обхождению, обиделась и послала его преосвященству другое письмо, за другим третье, четвертое, пятое, десятое... Владыка все не отвечал ни одним словом, и ни о каком распоряжении к удовлетворению просьбы графини вести не было.

Не оставалось сомнения, что владыка так и преодолееет даму, покрыв пыл ее светского негодования своим молчаливым безучастием «истового монаха».

Но на этот раз нашла коса на камень. Оскорбленная невниманием владыки, графиня не хотела ему «подарить» этого, и, как только приспел час ее отлету с милого севера к своим сезонным удовольствиям в Париж, она призвала безутешных крестьян и дала им слово «сама быть у владыки и не уйти от него до тех пор, пока поп будет смещен».

Крестьяне откланялись графине на ее ласковом слове, но едва ли верили в возможность его исполнения.

Судьба, однако, определила иначе.

Графиня повела дело своих крестьян с свойственной ей энергиею и нетерпеливостью. Она и мысли не допускала, чтобы это смело задержать ее в городе более трех-четырех часов, которые она могла пожертвовать крестьянам в ожидании поезда, приближавшего ее к границе. Поэтому она тотчас же с дороги переделалась в черное платье и в ту же минуту полетела к владыке.

Время было неурочное: владыка *никого* не принимал в эти часы, но келейник, очутясь перед такою ослепительною в свою пору дамою, с громким титулом и дышащим негодованием энергическим лицом, оплошал и отворил перед ней двери.

Ей только и надо было.

Графиня смело вошла в зал и, сев у стола, велела *«попросить к себе владыку»*.

– Попросить!.. – Келейник только руки развел... – Будто же так говорят! – но гостыя стояла на своем: «сию же минуту *попросить к ней* владыку, так как она приехала к нему *по делу церкви*».

– По церковному делу пожалуйста завтра, – упрашивал ее шепотом келейник.

– Ни за что на свете: я сейчас, сию минуту должна видеть владыку, потому что мне некогда; я через полтора часа уезжаю и могу опоздать на поезд.

Келейник увидел спасение в том, что графиня не может долго ожидать, и с удовольствием объявил, что теперь владыку решительно нельзя видеть.

– Это ложь, он меня примет, Я требую, чтобы вы сейчас обо мне доложили.

– Помилуйте, спросите у кого угодно, принимает ли кого-нибудь владыка в эти часы? и вы изволите убедиться...

⁴ «Увещательная песнь св. Григория Богослова», стихотворный перевод митрополита Филарета Дроздова. (прим. Лескова).

– Нет, это вы изволите убедиться, что вы говорите ложь! Сейчас прошу обо мне доложить, или вы увидите, как я сумею вас заставить делать то, что составляет вашу обязанность.

– Воля ваша, но я не могу.

– Не можете?

– Не могу-с, не смею.

– Хорошо!

С этим графиня быстро поднялась с места, сбросила с плеч мантилью и, подойдя к висевшему над столом зеркалу, стала развязывать ленты у своей шляпки.

Келейник смешался и уже умоляющим голосом заговорил:

– Что это вам угодно делать?

– Мне угодно снять мою шляпу, чтобы было спокойнее, и терпеливо ожидать, пока вы пригласите ко мне вашего владыку.

– Но я... извините... я не имею права вас здесь оставить...

Но на это графиня уже совсем не отвечала: она только обернулась к келейнику и, смежив его с головы до ног презрительным взглядом, повелительно сказала:

– Отправляйтесь на свое место! Я устала вас слушать и хочу отдыхать.

– Отдыхать?!

Послушник совсем опешил: сатаны в таком привлекательном и в то же время в таком страшном виде он еще не видал во всю свою аскетическую практику, а графиня между тем достала бывший у нее в кармане волюмчик нового французского романа и села читать.

Что бы решился предпринять еще далее против этого наваждения неопасливый келейник, – это неизвестно. Но, к его счастью, затруднительному его положению *поспешил* на помощь сам дипломатический владыка.

По рассказу графини, только что она раскрыла свою книгу, как келейник стих, а в противоположном конце зала что-то *зашиуршало*.

– Я, – говорит графиня, – догадалась, что это, может быть, *сам он* идет на расправу с моим сорванством, но притворилась, что не замечаю его появления, и продолжала смотреть в книгу. Это его, конечно, немножко затрудняло, и я этим пользовалась. Он не дошел до меня на кадетскую дистанцию, то есть шагов на шесть, и остановился. Я все продолжаю сидеть и гляжу в мою книгу, а сама вижу, что он все стоит и тихо потирает свои как будто зябнущие руки... Мне стало жалко старика; и я перевернула листок и как бы невзначай взглянула в его сторону. Посмотрела на него, но не тронулась с места, делая вид, как будто я не подозреваю, что это сам он. Это было для меня тем более удобно, что он был в одной легкой ряске и каком-то колпачке.

Увидав, что я смотрю на него (продолжаю словами графини), он пристально вперил в меня свои пронизательные серые глазки и проговорил мягким, замирающим полусшепотом:

«Чем могу вам служить?»

«Мне нужно видеть владыку», – отвечала я, по-прежнему не оставляя своего места и своей книги.

«Я тот, кого вы желаете видеть».

«А, в таком случае я прошу у вашего высокопреосвященства благословения и извинения, что я вас так настойчиво беспокою».

И, бросив на стол свой волюм, я подошла под благословение: он благословил и торопливо спрятал руку, как бы не желая, чтобы я ее поцеловала; но на мое извинение не ответил ни слова, а продолжал стоять столбушком.

«О, нет же, – подумала я себе, – так в свете не водится: объяснение в подобной позиции мне неудобно», – и я, отодвинув от стола свое кресло, пригласила его преосвященство сесть на диван.

Он моргнул раза два глазами и проговорил:

«Я вас слушаю».

«Нет, – отвечала я, – вы извините меня, владыко: я не могу так с вами говорить. Это неудобно, чтобы я сидела, а вы меня слушали стоя. Усердно вас прошу присесть и сидя меня выслушать».

При этом я, как бы опасаясь за его слабость, позволила себе подвести его за локоть к дивану.

Он не сопротивлялся и сел на диван, а я на кресло.

Мы оба, казалось, были изрядно взволнованы – я его невниманием, а он моим нахальством, и оба несколько времени молчали.

Я начала первая и, скоро овладев собою, рассказала ему, кажется, о всех главнейших обидах, какие терпят от его попа мои крестьяне; я просила во что бы то ни стало взять от нас этого обиралу и дать вместо него в мое село лучшего человека.

Во время всего моего рассказа я наблюдала владыку и видела, что он решил себе ни за что не исполнить моей просьбы. И тут моя врожденная отцовская вспыльчивость сказалась во мне до того решительно, что я способна была наговорить ему таких вещей, о которых, конечно, сама после бы жалела. Но я собрала все свои силы и ждала ответа, который последовал поспешно и, по моим понятиям, в высшей степени возмутительно.

Он опять начал потирать свои руки, взмахнул веками, а потом опять их опустил и опять взмахнул, и тогда только заговорил с медлительными расстановками:

«Я получил... ваши письма...»

Воспользовавшись первою паузою, я заметила, что «сомневалась в судьбе моих писем и очень рада, что они дошли по назначению». А в сущности это меня еще более бесило.

«Да, они дошли, – продолжал он, – я опасюсь, что вы вовлечены в заблуждение...»

«О, будьте покойны, владыко, я не заблуждаюсь: все, что я вам писала и что теперь говорю, – это сущая правда».

«На духовенство... часто клеветают».

«Очень может быть, но я сама была свидетельницею многих поступков этого нечестного человека».

При словах «нечестный человек» владыка опять взмахнул веками и, остановив на мне свои серые глаза, укоризненно молчал. Но видя, что я смотрю ему в упор, и, может быть, заметив, что во мне хватит терпения пересмотреть и перемолчать его, он произнес:

«И при собственном видении... все еще возможна... ошибка».

«Нет, извините, владыко, я знаю, что в том, о чем я вам говорю, нет ошибки».

Он опять замолчал и потом произнес:

«Но я должен быть... в этом удостоверен».

«Что же вам угодно будет считать достаточным удостоверением?»

«Я велю спросить благочинного... и тогда распоряжусь».

«Но это будет не скоро, и, вы простите меня, я не думаю, чтобы благочинный, его родственник, был более достоверным свидетелем, чем я, дочь человека, известную правдивость которого ценил государь, или чем мои крестьяне, страдающие от попа-лихоимца».

От последнего слова владыка пошевелился и, как бы желая встать, прошептал:

«Я чту память вашего родителя, но... дела должны идти в своем порядке».

«Так дайте хотя средство унять его как-нибудь, пока это дело будет переходить свои несносные порядки!» – сказала я, чувствуя, что более не могу, да и не хочу владеть собою...

«Прикажите сказать ему... моим именем, что мне... о нем доложено».

«Для него ничего не значит ваше имя».

Владыка остановил свои ручки, но терпеливо ответил:

«Это... не может быть».

«Нет, извините: я не приучена лгать, и если я вам это говорю, то это именно так и есть. Я ему давно говорила, что буду вам жаловаться, но он отвечал: „Владыка нам ни шьет, ни порет, а нам пить-есть надо“.»

И только что я это проговорила, как тихий голос владыки исчез и угасший взгляд его загорелся: он пристально воззрился на меня во все глаза и, точно вырастая с дивана, как выдвигной великан в цирке, произнес звучным, сильным и полным голосом:

«Он вам это сказал?!»

«Да», – отвечала я, – он сказал: «владыка нам ни шьет, ни порет...»

И не успела я повторить всей фразы, как в дрожащей руке владыки судорожно зазвенел серебряный колокольчик, и... я через полчаса могла со станции железной дороги послать в деревню известие, что корыстолюбивый поп от нас уже взят.

Этот незначительный случай, я думаю, может показать, с одной стороны, что наши владыки очень осторожны в своих расправах с духовенством и склонны к решительным мерам только тогда, когда узнают о недостатке субординационной почтительности в иерархии. С другой же стороны, отсюда можно видеть, что при всей прозорливости наших епископов, каковою, по мнению многих, особенно отличался сейчас упомянутый святитель, и они, эти высокоблагодатные люди, все-таки могут погрешать и быть жертвами своей доверчивости. Так это и случилось в рассказанном мною случае. Корыстолюбивый поп, виновный во множестве дурных поступков, не виноват был только в том, что ему навязала приведенная в азарт графиня: *он никогда не говорил погубивших его слов, что «владыка ему ни шьет, ни порет».*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.